
МЫСЛИ
О РОССИИ



ФЁДОР ДОСТОЕВСКИЙ

ЧТО ЕСТЬ
РОССИЯ?

ДНЕВНИКИ
ПИСАТЕЛЯ



Федор Михайлович Достоевский

Что есть Россия?

Дневники писателя

Серия «Мысли о России»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8251613

*Что есть Россия? Дневники писателя/ Федор Достоевский: Алгоритм;
Москва; 2014*

ISBN 978-5-4438-0813-0

Аннотация

Федор Михайлович Достоевский – едва ли не самый актуальный для нашего времени классик отечественной литературы, произведения которого с удовольствием экранизируют ведущие режиссеры. Известен он, однако, не только как великий романист, но и как выдающийся мыслитель-публицист, поставивший в своих статьях важнейшие вопросы русского национального бытия, до сих пор волнующие русское общественное сознание. Своеобразие исторического пути России, всемирное значение русской культуры, антиномии русской души, нравственное здоровье общества; Россия и Европа, Россия и славянство – вот лишь некоторые темы публицистики Достоевского. С.М. Сергеев, известный специалист по русской общественной мысли, собрал в данной книге статьи Ф.М.

Достоевского, интересные не только специалистам, но и широкой читательской аудитории.

Содержание

Предисловие	5
Разъединение оканчивается...	11
Наша новая Русь	22
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Федор Михайлович Достоевский Что есть Россия? Дневники писателя

Предисловие Наш национальный пророк

В.В. Розанов в статье «Возле “русской идеи”...» вспоминает замечательный разговор с коллегой по гимназии – армянином, учителем греческого языка. Как-то раз он спросил Василия Васильевича:

«— Знаете ли вы одно место из Достоевского, где он говорит о *народах* в истории?

Я, конечно, знал. Но он раскрыл о «Нареде-Богоносце» и прочел страстно, по-южному, декламируя. И заключил словами:

— Это – Евангелие истории... Евангелие и для всякого народа в унижении. Я не знаю еще таких слов на человеческом языке: это пророк говорил своему народу. Для русских это – Священное Писание».

Собеседник Розанова читал ему центральную часть диа-

лога Шатова и Ставрогина из романа «Бесы», включенную и в настоящий сборник. Есть вещи, которые морально трудно сказать о себе или о своем народе и которые требуют санкции «со стороны». Русскому человеку стеснительно заявить то, что произнес армянский поклонник нашего классика, и Розанов неспроста прикрывается «инородцем», чью мысль он, конечно же, полностью разделяет (а может, и «досочиняет»). Так или иначе, но мысль эта прекрасно выражена, глубока и верна.

Действительно, такие тексты, как упомянутый фрагмент из «Бесов», слово князя Мышкина о «русском Христе», монолог Версилова о «русских европейцах» из «Подростка» или же, наконец, Пушкинская речь самого Федора Михайловича, принадлежат к числу *священных текстов* отечественной словесности, наряду, скажем, с гоголевской «птицей-тройкой», тютчевскими «бедными селеньями» и целым ворохом сцен и авторских отступлений в «Войне и мире».

Слово «священные» я употребляю, конечно же, метафорически, так же как и розановский армянин. В жизни любого народа есть события, лица, книги, которые с годами приобретают статус чего-то бесспорно авторитетного, не подлежащего сомнению. Ученые в таких случаях предпочитают говорить о «национальной мифологии», возможно, это более точно, но широкому читателю, не знакомому с трудами А.Ф. Лосева, К.Г. Юнга или К. Хюбнера, пришлось бы слишком долго объяснять, что современная гуманитарная наука

не вкладывает в понятие «миф» негативного смысла, а, напротив обозначает им особую форму знания, равноправную научной, но отличающуюся от последней выходом за пределы рационализма. Иными словами, в основе мифа – вера, а не рассудок, но ведь не одним рассудком жив человек! А там, где вера, там и святыни, они существуют даже у нигилистов. Так что проще (и правильнее), по-моему, вести речь не о «мифологическом», а о *священном в широком (нецерковном) смысле слова* (покойный академик А.М. Панченко в этой связи интересно писал о феномене *светской святости* в отечественной культуре последних двух столетий). Впрочем, думаю, никакой служитель церкви не осудит строку из знаменитой песни: «Идет война народная, *священная* война».

Сделав эти оговорки, нужно согласиться с тем, что главные сочинения Федора Михайловича Достоевского – не просто великая литература и яркая публицистика, они – *наше национальное священное писание*, а их автор – *наш национальный пророк*. Не в том смысле, что он создатель какой-то новой религии (хотя так думали Рильке и Шпенглер), и не в том, что все его предсказания сбылись (сбылось только то, чего он больше всего боялся, а надежды и упования пошли прахом), а в том, что он с наибольшей полнотой и ясностью выразил в своих творениях сущность русского самосознания. В чем же эта сущность состоит?

Ответ прост и сложен одновременно: *в христианстве*.

Опять-таки, дело не в том, какой процент русских людей в ту или иную эпоху ходил в храмы и держал посты, а в том, что психология подавляющего большинства из них была и остается новозаветной, а жизненным идеалом (сознательным или бессознательным, неважно) являлся и является Христос. Разве весь наш быт с его походной неустроенностью, почти ирреальной зыбкостью, фантастическим свойством «линять в два дня» не свидетельствует о том, что мы града земного не имеем, а взыскуем града нездешнего? Даже атеисты, «по определению» обязанные отрицать все нематериальное, говорят «о душе» и «по душам» не меньше, чем «церковники», а презрения к стяжательству у них порой гораздо больше. Русская песня уносит в небо почти так же высоко, как и молитва. О «природном» христианстве России еще раньше Достоевского писал Тютчев, гениально схвативший образ русского Христа – страдающего, униженного, «голгофского» (Федор Михайлович, продолжая Федора Ивановича, напишет позднее, что одна из наиболее характерных черт русской «психеи» – неизбывная потребность в очистительном страдании, то есть, в сущности, желание сораспяться со Христом), и это никакая не метафизика, это факты. Достаточно вспомнить, кого наши предки канонизировали в первую очередь – кротких страстотерпцев, добровольно отдавших себя на закление, князей Бориса и Глеба, – чтобы сразу согласиться с поэтом. И не просто же так в христианском мире нашлась одна-единственная страна, где 9/10 ее

жителей определяли свое социальное положение религиозно: «мы – кре(хри)стья(иа)не»...

Другая коренная особенность «русской идеи» (непосредственно вытекающая из предыдущей), по Достоевскому, – всечеловечность, всеотзывчивость, способность понимать чужое как свое, отсутствие национального эгоизма. Об этом многие писали гораздо раньше автора «Братьев Карамазовых», в частности здесь сходились вроде бы классические антиподы Чаадаев и Константин Аксаков, но именно он довел заветную интуицию нашей философии до последнего чекана, недаром его Пушкинская речь была воспринята современниками как откровение. И несмотря на сокрушительную, не оставляющую камня на камне от ее основных положений критику этой речи Константином Леонтьевым, она продолжает таковым откровением оставаться. Леонтьев обвинял Достоевского в утопизме, но на самом деле утопией оказалась его собственная мечта о России как об отдельном, замкнутом в себе «культурно-исторического типе», который якобы должен создать новую, ни на что не похожую, сверхоригинальную культуру. Само по себе, выдвинутое Н.Я. Данилевским и продолженное Леонтьевым (а затем и Шпенглером, Тойнби, Хантингтоном...) понимание мировой истории как истории ряда самобытных, независимых друг от друга цивилизаций бесспорно, но... к России оно неприменимо, ибо наша родина, явно не вписываясь ни в какой другой «культурно-исторический тип», своего собственного (с

присущей только ей культурной формой) так и не создала. Зато всемирной отзывчивости за прошедшие с Пушкинских торжеств 1880 года сто двадцать с лишним лет она нисколько не растеряла, доказывая удивленному миру, что может существовать такая цивилизация, чье неповторимое своеобразие состоит в перманентном отречении от самой себя...

Нужно ли говорить, что указанные Достоевским основы русского самосознания не могут способствовать тихой, сытой и спокойной жизни? Народ с такой «идеей» обречен на вечное пребывание в стихии трагического. Да, это величественно, красиво, в конце концов интересно... но тем, кто мечтает об утверждении в России «европейских стандартов», лучше предаваться сему занятию, «глядя из Лондона». Может быть, когда-нибудь русский менталитет радикально изменится, появятся совсем другие пророки, которые научат нас жить «как люди», но на наш век, дорогие современники, Достоевского хватит с лихвой...

Сергей Сергеев

Разъединение оканчивается...

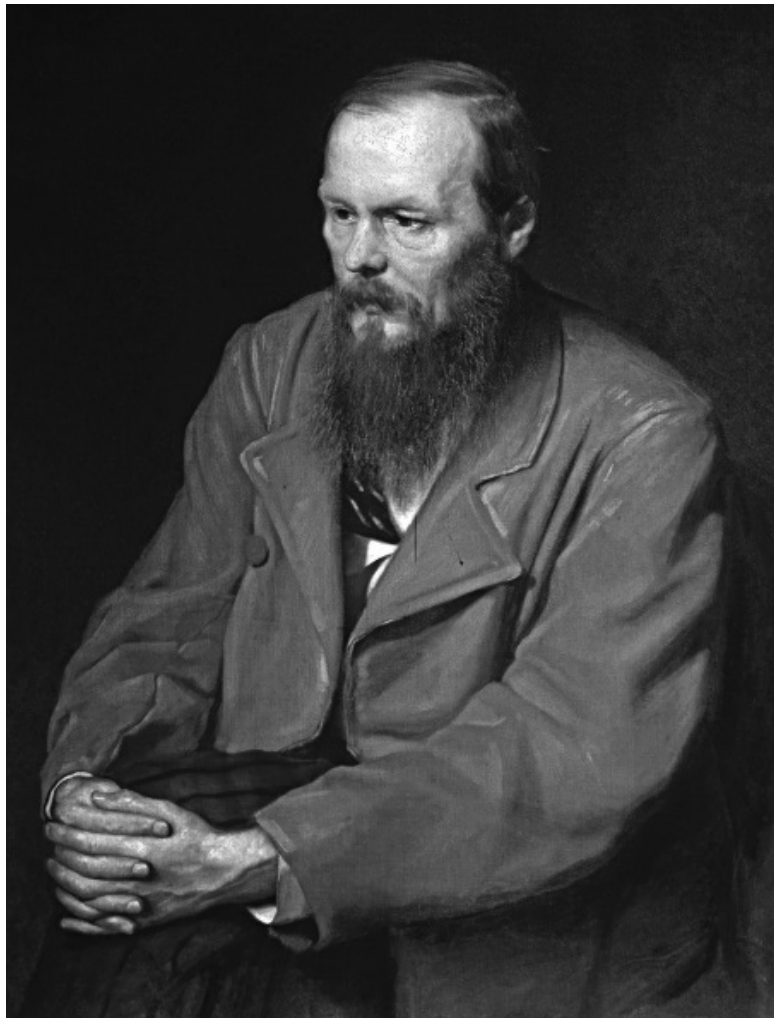
(Из «Объявления о подписке на журнал “Время” на 1861 год»)

...Прежде чем мы приступим к объяснению, почему именно мы считаем нужным основать новый публичный орган в нашей литературе, скажем несколько слов о том, как мы понимаем наше время и именно настоящий момент нашей общественной жизни. Это послужит и к уяснению духа и направления нашего журнала.

Мы живем в эпоху в высшей степени замечательную и критическую. Не станем исключительно указывать, для доказательства нашего мнения, на те новые идеи и потребности русского общества, так единодушно заявленные всею мыслящею его частью в последние годы. Не станем указывать и на великий крестьянский вопрос, начавшийся в наше время... Все это только явления и признаки того огромного переворота, которому предстоит совершиться мирно и согласнo во всем нашем отечестве, хотя он и равносильн, по значению своему, всем важнейшим событиям нашей истории и даже самой реформе Петра. Этот переворот есть слитие образованности и ее представителей с началом народным и приобщением всего великого русского народа ко всем элементам нашей текущей жизни, – народа, отшатнувшегося от Петровской реформы еще 170 лет назад и с тех пор разъеди-

ненного с сословием образованным, жившего отдельно, своей собственной, особенной и самостоятельной жизнью.

Мы упомянули о явлениях и признаках. Бесспорно, важнейший из них есть вопрос об улучшении крестьянского быта.



В.Г. Перов. Портрет Ф.М. Достоевского

Теперь уже не тысячи, а многие миллионы русских войдут в русскую жизнь, внесут в нее свои свежие непочатые силы и скажут свое новое слово. Не вражда сословий, победителей и побежденных, как везде в Европе, должна лечь в основание развития будущих начал нашей жизни. Мы не Европа, и у нас не будет и не должно быть победителей и побежденных.

Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом. С самого начала народ от нее отказался. Формы жизни, оставленные ему преобразованием, не согласовались ни с его духом, ни с его стремлениями, были ему не по мерке, не впору. Он называл их немецкими, последователей великого царя – иностранцами. Уже одно нравственное распадение народа с его высшим сословием, с его вожаками и предводителями показывает, какою дорогою ценою досталась нам тогдашняя новая жизнь. Но, разойдясь с реформой, народ не пал духом. Он неоднократно заявлял свою самостоятельность, заявлял ее с чрезвычайными, судорожными усилиями, потому что был один и ему было трудно. Он шел в темноте, но энергически держался своей особой дороги. Он вдумывался в себя и в свое положение, пробовал создать себе воззрение, свою философию, распадался на таинственные уродливые секты, искал для своей жизни новых исходов, новых форм. Невозможно было более отшатнуться от старого берега, невозможно было смелее жечь свои корабли, как это сделал наш народ при

выходе на эти новые дороги, которые он сам себе с таким мучением отыскивал. А между тем его называли хранителем старых допетровских форм, тупого старообрядства.

Конечно, идеи народа, оставшегося без вожатаев на одни свои силы, были иногда чудовищны, попытки новых форм жизни безобразны. Но в них было общее начало, один дух, вера в себя незыблемая, сила непочатая. После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один только случай соединения – двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает.

Но теперь разъединение оканчивается. Петровская реформа, продолжавшаяся вплоть до нашего времени, дошла наконец до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена. Все последовавшие за Петром узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами. Когда-то мы сами укоряли себя за неспособность к европеизму. Теперь мы думаем иначе. Мы знаем теперь, что мы и не можем быть европейцами, что мы не в состоянии втиснуть себя в одну из западных форм жизни, выжитых и выработанных Европою из собственных своих национальных начал, нам чуждых и противоположных, – точно так, как мы не могли бы носить чужое платье, сшитое не по нашей мерке. Мы убедились наконец, что мы тоже отдельная национальность, в высшей степени самобытная, и что наша задача – создать себе новую

форму, нашу собственную, родную, взятую из почвы нашей, взятую из народного духа и из народных начал. Но на родную почву мы возвратились непобежденными. Мы не отказываемся от нашего прошедшего: мы сознаем и разумность его. Мы сознаем, что реформа раздвинула наш кругозор, что через нее мы осмыслили будущее значение наше в великой семье всех народов.

Мы знаем, что не оградимся уже теперь китайскими стенами от человечества. Мы предугадываем, и предугадываем с благоговением, что характер нашей будущей деятельности должен быть в высшей степени общечеловеческий, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях; что, может быть, все враждебное в этих идеях найдет свое примирение и дальнейшее развитие в русской народности. Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых. Недаром заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев. Они упрекали нас за это, называли нас безличными,

людьми без отечества, не замечая, что способность отрешиться на время от почвы, чтоб трезвее и беспристрастнее взглянуть на себя, есть уже сама по себе признак величайшей особенности; способность же примирительного взгля-

да на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям. Иностранцы еще и не починали наших бесконечных сил... Но теперь, кажется, и мы вступаем в новую жизнь.

И вот перед этим-то вступлением в новую жизнь примирение последователей реформы Петра с народным началом стало необходимостью. Мы говорим здесь не о славянофилах и не о западниках. К их домашним раздорам наше время совершенно равнодушно. Мы говорим о примирении цивилизации с народным началом. Мы чувствуем, что обе стороны должны наконец понять друг друга, должны разъяснить все недоумения, которых накопилось между ними такое невероятное множество, и потом согласно и стройно общими силами двинуться в новый широкий и славный путь. Соединение во что бы то ни стало, несмотря ни на какие жертвования, и возможно скорейшее, – вот наша передовая мысль, вот девиз наш.

Но где же точка соприкосновения с народом? Как сделать первый шаг к сближению с ним, – вот вопрос, вот забота, которая должна быть разделяема всеми, кому дорого русское имя, всеми, кто любит народ и дорожит его счастьем. А счастье его – счастье наше. Разумеется, что первый шаг к достижению всякого согласия есть грамотность и образование. Народ никогда не поймет нас, если не будет к тому предварительно приготовлен. Другого нет пути, и мы знаем, что, высказывая это, мы не говорим ничего нового. Но пока за обра-

зованным сословием остается еще первый шаг, оно должно воспользоваться своим положением и воспользоваться усиленно. Распространение образования усиленное, скорейшее и во что бы то ни стало – вот главная задача нашего времени, первый шаг ко всякой деятельности.

Мы высказали только главную передовую мысль нашего журнала, намекнули на характер, на дух его будущей деятельности. Но мы имеем и другую причину, побудившую нас основать новый независимый литературный орган. Мы давно уже заметили, что в нашей журналистике в последние годы развилась какая-то особенная добровольная зависимость, подначальность литературным авторитетам. Разумеется, мы не обвиняем нашу журналистику в корысти, в продажности. У нас нет, как почти везде в европейских литературах, журналов и газет, торгующих за деньги своими убеждениями, меняющих свою подлую службу и своих господ на других единственно из-за того, что другие дают больше денег. Но заметим, однако же, что можно продавать свои убеждения и не за деньги. Можно продать себя, например, от излишнего врожденного подбострастия или из-за страха прослыть глупцом за несогласие с литературными авторитетами. Золотая посредственность иногда даже бескорыстно трепещет перед мнениями, установленными столпами литературы, особенно если эти мнения смело, дерзко, нахально высказаны. Иногда только эта нахальность и дерзость доставляет звание столпа и авторитета писателю неглупому, умею-

щему воспользоваться обстоятельствами, а вместе с тем доставляет столпу чрезвычайное, хотя и временное влияние на массу. Посредственность, с своей стороны, почти всегда бывает крайне пуглива, несмотря на видимую заносчивость, и охотно подчиняется. Пугливость же порождает литературное рабство, а в литературе не должно быть рабства. Из жажды литературной власти, литературного превосходства, литературного чина иной, даже старый и почтенный литератор, способен иногда решиться на такую неожиданную, на такую странную деятельность, что она поневоле составляет соблазн и изумление современников и непременно перейдет в потомство в числе скандальных анекдотов о русской литературе в половине девятнадцатого столетия. И такие происшествия случаются все чаще и чаще, и такие люди имеют влияние продолжительное, а журналистика молчит и не смеет до них дотрагиваться. Есть в литературе нашей до сих пор несколько установившихся идей и мнений, не имеющих ни малейшей самостоятельности, но существующих в виде несомненных истин, единственно потому, что когда-то так определили литературные предводители. Критика пошлеет и мельчает. В иных изданиях совершенно обходят иных писателей, боясь проговориться о них. Спорят для верха в споре, а не для истины. Грошовый скептицизм, вредный своим влиянием на большинство, с успехом прикрывает бездарность и употребляется в дело для привлечения подписчиков. Строгое слово искреннего глубокого убеждения слышится

все реже и реже. Наконец, спекулятивный дух, распространяющийся в литературе, обращает иные периодические издания в дело преимущественно коммерческое, литература же и польза ее отодвигаются на задний план, а иногда о ней и не мыслится.

Мы решились основать журнал, вполне независимый от литературных авторитетов, — несмотря на наше уважение к ним — с полным и самым смелым обличением всех литературных странностей нашего времени. Обличение это мы предпринимаем из глубочайшего уважения к русской литературе. Наш журнал не будет иметь никаких нелитературных антипатий и пристрастий. Мы даже готовы будем признаваться в собственных своих ошибках и промахах, и признаваться печатно, и не считаем себя смешными за то, что хвалимся этим (хотя бы и заранее). Мы не уклонимся и от полемики. Мы не побоимся иногда немного и «пораздразнить» литературных гусей; гусиный крик иногда полезен: он предвещает погоду, хотя и не всегда спасает Капитолий. Особенное внимание мы обратим на отдел критики. Не только всякая замечательная книга, но и всякая замечательная литературная статья, появившаяся в других журналах, будет непременно разобрана в нашем журнале. Критика не должна же уничтожиться из-за того только, что книги стали печататься не отдельно, как прежде, а в журналах. Оставляя в стороне всякие личности, обходя молчанием все посредственное, если оно не вредно, «Время» будет следить за всеми сколь-

ко-нибудь важными явлениями литературы, останавливать внимание на резко выдающихся фактах, как положительных, так и отрицательных, и без всякой уклончивости обличать бездарность, злонамеренность, ложные увлечения, неуместную гордость и литературный аристократизм — где бы они ни являлись. Явления жизни, ходячие мнения, установившиеся принципы, сделавшиеся от общего и слишком частого употребления кстати и некстати какими-то опошлившимися, странными и досадными афоризмами, точно так же подлежат критике, как и вновь вышедшая книга или журнальная статья. Журнал наш поставляет себе неизменным правилом говорить прямо свое мнение о всяком литературном и честном труде. Громкое имя, подписанное под ним, обязывает суд быть только строже к нему, и журнал наш никогда не низойдет до общепринятой теперь уловки — наговорить известному писателю десять напыщенных комплиментов, чтобы иметь право сделать ему одно не совсем лестное для него замечание. Похвала всегда целомудренна; одна лесть пахнет лакейской.

Наша новая Русь

(Из статей о русской литературе)

1

Если есть на свете страна, которая была бы для других, отдаленных или сопредельных с нею стран более неизвестною, неисследованною, более всех других стран непонятою и непонятною, то эта страна есть, бесспорно, Россия для западных соседей своих. Никакой Китай, никакая Япония не могут быть покрыты такой тайной для европейской пытливости, как Россия, прежде, в настоящую минуту и даже, может быть, еще очень долго в будущем. Мы не преувеличиваем. Китай и Япония, во-первых, слишком далеки от Европы, а во-вторых, и доступ туда иногда очень труден.

Россия же вся открыта перед Европою, русские держат себя совершенно нараспашку перед европейцами, а между тем характер русского, может быть, даже еще слабее обрисован в сознании европейца, чем характер китайца или японца. Для Европы Россия – одна из загадок Сфинкса. Скорее изобретется *perpetuum mobile* или жизненный эликсир, чем постигнется Западом русская истина, русский дух, характер и его направление. В этом отношении даже Луна теперь исследо-

вана гораздо подробнее, чем Россия. По крайней мере, положительно известно, что там никто не живет; а про Россию знают, что в ней живут люди и даже русские люди, но какие люди? Это до сих пор загадка, хотя, впрочем, европейцы и уверены, что они нас давно постигли. В разное время употреблены были пытливыми соседями нашими довольно большие усилия для узнавания нас и нашего быта; были собраны материалы, цифры, факты; производились исследования, за которые мы чрезвычайно благодарны исследователям, потому что эти исследования для нас самих были чрезвычайно полезны. Но всевозможные усилия вывести из всех этих материалов, цифр, фактов что-нибудь основательное, путное, дельное собственно о русском человеке, что-нибудь синтетически верное, – все эти усилия всегда разбивались о какую-то роковую, как будто кем-то и для чего-то предназначенную невозможность. Когда дело доходит до России, какое-то необыкновенное тупоумие нападает на тех самых людей, которые выдумали порох и сосчитали столько звезд на небе, что даже уверились наконец, что могут их и хватать с неба.

Все доказывает это, начиная с мелочей до самых глубокомысленных исследований о судьбе, значении и будущности нашего отечества. Кое-что, впрочем, о нас знают. Знают, например, что Россия лежит под такими-то градусами, изобилует тем-то и тем-то и что в ней есть такие места, где ездят на собаках. Знают, что кроме собак в России есть и

люди, очень странные, на всех похожие и в то же время как будто ни на кого не похожие; как будто европейцы, а между тем как будто и варвары. Знают, что народ наш довольно смысленный, но не имеет гения; очень красив, живет в деревянных избах, но неспособен к высшему развитию по причине морозов. Знают, что в России есть армия, и даже очень большая; но полагают, что русский солдат – совершенная механика, сделан из дерева, ходит на пружинах, не мыслит и не чувствует и потому довольно стоек в сражениях, но не имеет никакой самостоятельности и во всех отношениях уступает французу. Знают, что в России был император Петр, которого называют Великим, – монарх не без способностей, но полуобразованный и увлекавшийся своими страстями; что женевец Лефорт воспитал его, сделал его из варвара умным и внушил ему мысль завести флот и обрезать русским кафтаны и бороды; что Петр действительно обрезал бороды, и потому русские тотчас же сделались европейцами. Но знают и то, что, не родись в Женеве Лефорт, русские до сих пор ходили бы с бородами, а следовательно, не было бы и преобразования России. Но, впрочем, довольно и этих примеров; все остальные познания то же или почти то же самое. Мы говорим совершенно серьезно. Сделайте одолжение, разверните все книги, об нас написанные разными заезжими виконтами, баронами и преимущественно маркизами, – книги, разошедшиеся по Европе в десятках тысяч экземпляров; прочтите их внимательно и увидите, правду ли

мы говорим, шутим мы или нет? И что всего любопытнее – некоторые из этих книг написаны людьми, бесспорно, замечательно умными. То же самое бессилие, как и в этих попытках заезжих путешественников бросить высший взгляд на Россию и усвоить ее главную идею, видим мы и в полнейшей неспособности почти всякого иностранца, которого обстоятельства заставляют жить в России иногда даже пятнадцать и двадцать лет, хоть сколько-нибудь оглядеться, прижиться в России, понять хоть что-нибудь окончательно, выжить хоть какую-нибудь идею, подходящую к истине. Возьмем сначала ближайшего соседа нашего, немца. Приезжают к нам немцы всякие: и без царя в голове, и такие, у которых есть свой король в Швабии, и ученые, с серьезною целью узнать, описать и таким образом быть полезным науке России, и неученые простолюдины с более скромною, но добродетельною целью печь булки и коптить колбасы, – разные Веберы и Людекенсы. Иные даже принимают себе «раз навсегда за правило и даже за священную обязанность» знакомить русскую публику с разными европейскими редкостями и потому являются с великанами и великаншами, с ученым сурком или обезьяною, нарочно выдуманною немцами для русского удовольствия.

Но какая бы ни была разница между ученым немцем и простолюдином в понятиях, в общественном значении, в образовании и в цели посещения России, – в России все эти немцы немедленно сходятся в своих впечатлениях. Какое-то

болезненное чувство недоверчивости, какая-то боязнь примириться с тем, что он видит резко на себя не похожего, совершенная неспособность догадаться, что русский не может обратиться совершенно в немца и что потому нельзя всего мерить на свой аршин, и, наконец, явное или тайное, но во всяком случае беспредельное высокомерие перед русскими, — вот характеристика почти всякого немецкого человека во взгляде на Россию. Иные приезжают служить у помещиков, управлять вотчинами; другие являются в виде естествоиспытателей, ловят русских жуков, приобретают этим бессмертную славу и обращаются в каких-нибудь заседателей. Другие, с успехом заседая лет пятнадцать, решаются наконец быть современными и полезными и для этого подробно опишут, из каких горных пород будет состоять цоколь будущего памятника тысячелетию России. Есть из них чрезвычайно добрые; такие почти всегда начинают специально учиться по-русски, очень полюбят русский язык и русскую литературу, получают наконец употребление русского языка, конечно не без тяжких усилий, и, в припадке восторга, желая принести себе, русским и человечеству несомненную пользу, решаются — «перевести “Россияду” Хераскова на санскритский язык». Впрочем, не все переводят «Россияду» Хераскова. Иные приезжают писать свою Россияду и издадут ее уже в Германии. Есть знаменитые сочинения в этом роде. Читаешь эту «Россияду» — серьезно, дельно, умно, даже остроумно. Факты верны и новы; глубокий взгляд брошен на иные

явления, взгляд оригинальный и меткий именно потому, что иные русские явления удобнее наблюдать не русскому, а со стороны, и вдруг на чем-нибудь самом важном, коренном, без чего никакие познания о России, никакие факты, приобретенные трудом самым добросовестным, не дадут никакого о ней понятия или дадут самое сбивчивое, чтоб не сказать бестолковое, – вдруг наш ученый становится в тупик, обрывается, теряет нитку и заключает такую нелепостью, что книга сама вырывается из рук ваших и падает, иногда даже под стол.

Приезжие французы совершенно не похожи на немцев; это что-то обратно противоположное. Француз ничего не станет переводить на санскритский язык, не потому чтоб он не знал санскритского языка – француз все знает, даже ничему не учившись, – но потому, во-первых, что он приезжает к нам окинуть нас взглядом самой высшей прозорливости, просверлить орлиным взором всю нашу подноготную и изречь окончательное, безапелляционное мнение; а во-вторых, потому, что он еще в Париже знал, что напишет о России; даже, пожалуй, напишет свое путешествие в Париже, еще прежде поездки в Россию, продаст его книгопродавцу и уже потом приедет к нам – блеснуть, пленить и улететь. Француз всегда уверен, что ему благодарить некого и не за что, хотя бы для него действительно что-нибудь сделали; не потому что в нем дурное сердце, даже напротив; но потому что он совершенно уверен, что не ему принесли, например, хоть

удовольствие, а что он сам одним появлением своим осчастливил, утешил, наградил и удовлетворил всех и каждого на пути его. Самый бестолковый и беспутный из них, поживя в России, уезжает от нас совершенно уверенный, что осчастливил русских и хоть отчасти преобразовал Россию. Иные из них приезжают с серьезными, важными целями, иногда даже на 28 дней, срок необъятный, цифра, доказывающая всю добросовестность исследователя, потому что в этот срок он может совершить и описать даже кругосветное путешествие. Схватив первые впечатления в Петербурге, которые выходят у него еще довольно удачно, и, кстати, рассмотрев при этом критически английские учреждения, выучив мимоходом русских бояр (les boyards) вертеть столы или пускать мыльные пузыри, что, впрочем, очень мило и гораздо лучше величавой и чванной скуки наших собраний, он решается наконец изучить Россию основательно, в подробностях, и едет в Москву. В Москве он взглянет на Кремль, задумается о Наполеоне, похвалит чай, похвалит красоту и здоровье народа, погрузит о преждевременном его разврате, о плодах неудачно привитой цивилизации, о том, что исчезают национальные обычаи, чему найдет немедленное доказательство в перемене дрожек-гитары на дрожки-линейку, подходящую к европейскому кабриолету; сильно нападет за все это на Петра Великого и тут же, совершенно кстати, расскажет своим читателям свою собственную биографию, полную удивительнейших приключений. С французом все

может случиться, не причинив ему, впрочем, никакого вреда, до такой степени, что он после своей биографии тотчас же начинает рассказывать русскую повесть, конечно истинную, взятую из русских нравов, под названием «Petroucha», имеющую два преимущества: во-первых, что она верно характеризует русский быт, а во-вторых, что она в то же время верно характеризует и быт Сандвичевых островов. Кстати уж обратит внимание и на русскую литературу; поговорит о Пушкине и снисходительно заметит, что это был поэт не без дарований, вполне национальный и с успехом подражавший Андрею Шенье и мадам Дезульер; похвалит Ломоносова, с некоторым уважением будет говорить о Державине, заметит, что он был баснописец не без дарованья, подражавший Лафонтену, и с особенным сочувствием скажет несколько слов о Крылове, молодом писателе, похищенном преждевременною смертию (следует биография) и с успехом подражавшем в своих романах Александру Дюма. Затем путешественник прощается с Москвой, едет далее, восхищается русскими тройками и появляется наконец где-нибудь на Кавказе, где вместе с русскими пластунами стреляет черкесов, сводит знакомство с Шамилем и читает с ним «Трех мушкетеров»...

Повторяем, говоря это, мы вовсе не шутим, вовсе не преувеличиваем. Между тем мы сами чувствуем, что слова наши как будто отзываются пародией, карикатурой. Правда ведь и то, что нет такого предмета на земле, на который

бы нельзя было посмотреть с комической точки зрения. Все можно осмеять, скажут нам, сказать то, да не так, передать почти те же самые слова, да не так их выразить. Согласны. Но возьмите же сами самое серьезное мнение о нас иностранцев; и вы убедитесь, что все сказанное нами нисколько не преувеличено.

2

Но надо оговориться. Последние нелепые возгласы о нас иностранцев были большею частию произнесены в состоянии беспокойном, во время недавних раздоров, теперь уже, слава богу, поконченных надолго, если не навсегда, во время войны, среди яростных боевых криков. А впрочем, если взять эссенцию всех прежних мнений, до раздоров и войны, то вывод был бы почти тот же самый. Книги налицо; можно справиться.

Что ж? будем ли мы обвинять за такое мнение иностранцев? Обвинять их в ненависти к нам, в тупости; смеяться над их недальновидностью, ограниченностью? Но их мнение было высказано не один раз и не кем-нибудь; оно выговаривалось всем Западом, во всех формах и видах, и хладнокровно и с ненавистью, и крикунами и людьми прозорливыми, и подлецами и людьми высоко честными, и в прозе и в стихах, и в романах и в истории, и с ораторских трибун. Следственно, это мнение чуть ли не всеобщее, а всех обвинять как-то

трудно. Да и за что обвинять? За какую вину? Скажем прямо: не только тут нет никакой вины, но даже мы признаем это мнение за совершенно нормальное, то есть прямо выходящее из хода событий, несмотря на то, что оно, разумеется, совершенно ложное. Дело в том, что иностранцы и не могут нас понять иначе, хотя бы мы их и разуверяли в противном.

Но неужели ж разуверять? Во-первых, по всем вероятностям, французы не подпишутся на «Время», хотя бы нашим сотрудником был сам Цицерон, которого, впрочем, мы бы, может быть, и не взяли в сотрудники. Следственно, не прочтут нашего ответа; остальные немцы и подавно. Во-вторых, надо признаться, в них действительно есть некоторая неспособность нас понять. Они и друг друга-то не совсем хорошо понимают.

Англичанин до сих пор еще не в состоянии допустить разумности существования француза; француз платит ему совершенно тою же монетою, даже с процентами, несмотря ни на какие союзы и проч., и проч. А между тем и тот и другой – европейцы, настоящие, главные европейцы, представители европейцев. Где ж было им разгадать нас, русских, когда мы и сами-то для себя загадка, по крайней мере, постоянно задавали друг другу о себе загадки. Разве славянофилы не задавали загадок западникам, а западники славянофилам? У нас до сих пор любят ребусы. Читайте объявления об издании журналов, и вы в этом совершенно убедитесь. И как же бы, наконец, они нас постигли, когда одна из главнейших на-

ших особенностей именно та, что мы не европейцы, а они и не могут мерить иначе как на свой аршин. Да главное еще то, что мы сами почти вплоть до сих пор постоянно и упорно рекомендовали им себя за европейцев. Что ж могли они разобрать в такой путанице, особенно глядя на нас? Вины ли они, что до сих пор у них недостает даже фактов, чтоб составить о нас беспристрастное мнение? Чем заявили мы себя особенным, оригинальным? Мы, напротив, даже как-то боялись сознаться в наших оригинальностях, прятали их не только перед ними, но даже перед собою; стыдились, что мы еще носим на себе хоть какой-нибудь свой отпечаток и никак не можем стать вполне европейцами, укоряли себя за это, а следственно, им же поддакивали, торопливо соглашались с ними и даже не пробовали их переуверять. Да и кого из русских они видели? по ком судили? Правда, они встречались со многими из наших, целых полтора века сряду. Вместе с прочими ездил к ним и господин Греч и писал оттуда парижские письма. Вот про господина Греча мы знаем, что он пытался было переубедить французов, разговаривал с Сент-Бевом, с Виктором Гюго, что явствует из его собственных парижских писем. «Я *напрямки* сказал Сент-Беву», – выражается он. «Я *напрямки* объявил Виктору Гюго». Дело, видите ли, в том, что Сент-Беву или Виктору Гюго, не помним (надо бы справиться), г-н Греч сказал *напрямки*, что литература, проповедующая

безнравственность и проч., и проч., ошибается и недо-

стойна называться литературой. (Может быть, слова не совсем те, но смысл тот же самый. За это ручаемся.) Вероятно, Сент-Беву надо было дожидаться лет пятьдесят г-на Греча, чтоб услышать от него подобную истину из прописей. То-то, должно быть, Сент-Бев выпучил глаза! Впрочем, успокоимся: французы народ чрезвычайно вежливый, и мы знаем, что г-н Греч воротился из Парижа благополучно и невредимо. Притом же мы, может быть, и не ошибемся, если скажем, что по г-ну Гречу нельзя же было судить о всех русских. Но довольно о г-не Грече. Мы упомянули о нем только так. К делу! Ездили в Париж и другие, кроме г-на Греча.

Являлись туда с незапамятных времен и отставные наши кавалеристы, народ веселый и добродушный, изумлявший на наших парадах публику красотой своих форм, обтянутых лосиною, и проводивший потом остаток дней своих уже не в тягостях службы, а в свое удовольствие. Толпами валили за границу и молодые вертопрахи, нигде не служившие, но сильно заботившиеся о своих поместьях. Ездили туда и коренные наши помещики со всеми семействами и картонками; добродушно и серьезно взбирались на башни Нотр-Дам, осматривали оттуда Париж и, втихомолку от своих жен, гонялись за гризетками. Доживали там свой век оглохшие и беззубые старухи барыни и уже окончательно лишались употребления русского языка, которого, впрочем, не знали и прежде. Возвращались оттуда к нам и наши матушкины сынки, знавшие всю подноготную о Пальмерстоне и о всех

мелких дрязгах во Франции, до последней бабьей сплетни, и которые за обедом просили своих соседей приказать лакею налить им стакан воды единственно для того, чтоб не проговорить и двух слов по-русски, хотя бы и с лакеем. Об одном из таких фактов лично свидетельствует г-н Григорович, написавший недавно «Пахатника и бархатника». Но бывали и такие из них, которые знали по-русски, даже занимались зачем-то русской литературой и ставили на русских сценах комедии, вроде пословиц Альфреда Мюссе, под названием ну хоть, например, «Раканы» (название, конечно, выдуманное). Так как сюжет «Раканов» характеризует целый слой общества, занимающегося такими комедиями, а вместе с тем изображает тип и других произведений в таком же роде, то позвольте вам в двух словах рассказать его. Когда-то в Париже, в прошлом столетии, процветал один пошлейший рифмоплет, под названием Ракан, не годившийся даже чистить сапоги г-ну Случевскому. Одна идиотка, маркиза, прельщается его стихами и желает с ним познакомиться. Три шалуна сговариваются между собою явиться к ней, один за другим, под названием Ракана. Не успевает она проводить одного Ракана, как тотчас же перед ней является и другой. Все остроумие, вся соль комедии, весь пафос ее заключается в остолбенении маркизы при виде Ракана в трех лицах. Господа, разрешавшиеся (иногда в сорок лет от роду) такими комедиями после «Ревизора», совершенно бывали уверены, что дарят русской литературе драгоценнейшие перлы. И таких гос-

под не один, не два; имя им легион. Разумеется, никто из них ничего не пишет. Автор «Раканов» почти исключение; но зато каждый из них так уж с виду смотрит, что как будто сейчас сочинит «Раканов». Кстати (простите за отступление), премиленькая вышла бы статейка, если б кто-нибудь из наших фельетонистов взял на себя труд рассказать все сюжеты таких комедий, повестей, пословиц и проч., и проч., мелькающих даже до сих пор в русской литературе. Становые, отказывающиеся, по принципу, жениться на генеральских дочерях, – разве это не те же *Раканы*, разумеется, в своем роде и немного только позлокачественнее? Я знаю, например, сюжет одной повести о проглоченных кем-то маленьких часах, продолжавших тикать в желудке, – это верх совершенства! Разумеется, она написана или будет написана тоже по принципу, именно: что искусство должно служить само себе целью. Уж наше время такое: даже сочинители «Раканов» не могут теперь обходиться без «принципов» и «современных вопросов». Но к делу.

Спрашиваем: что могли до сих пор заключить о нас иностранцы по таким господам? Но, скажут нам, разве только одни такие господа ездили к иностранцам? Разве не видали, хоть бы, например, французы, таких-то или вот, пожалуй, таких-то? То-то и есть, что они их до сих пор не заметили. А если б и заметили, то опять стали бы в тупик. Ну что бы, например, могли сказать они человеку, приехавшему бог знает откуда и который бы им вдруг объявил, что они отстали, что

свет уже теперь на востоке, что спасение не в Почетном легионе, и так далее, и так далее в этом роде. Они просто бы не стали его слушать.

— Да, вы многое в нас проглядели, — сказали бы мы им, если б только они могли не проглядеть, ну, и... и если б они нас стали слушать. — Вы совершенно ничего в нас не знаете, — повторили бы мы им, — несмотря на то, что ваш Мери-ме знает даже древнюю нашу историю и написал что-то вроде начала драмы «*Le Faux Demetrius*» («Лжедмитрий»), из которой, впрочем, столько же можно узнать о русской истории, как и из «Марфы Посадницы» Карамзина. Замечательно, что сам *Le Faux Demetrius* вышел у него ужасно похож на Александра Дюма, не на героя романа Александра Дюма, но на самого Дюма, настоящего, маркиза *Davis de la Pailletterie*. Ничего-то вы не знаете ни в нас, ни в нашей истории, — повторили бы мы им в третий раз, — и до сих пор знаете только одно: что женевец Лефорт, и т. д., и т. д. — Этот женевец Лефорт до того необходим в ваших познаниях о русской истории, что, я думаю, каждая дворничиха в Париже уже знает его и, вероятно, при взгляде на русского, требующего у ней в поздний час «отворите, пожалуйста», бормочет про себя: «Вот не родись в Женеве женевец Лефорт, то был бы ты до сих пор варваром, не приезжал бы в Париж, не будил бы ты теперь меня ночью». Но несмотря на троекратное повторение, что вы вовсе ничего о нас не знаете, мы вовсе не ставим вам в вину, что вы знаете только одного Лефорта. Ну,

Лефорт вам даже простителен, потому что многих из вас он спас от голодной смерти.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.